

АЛЕКСАНДР ТРОФИМОВ

ПОДЛИННИК



повесть

Александр Трофимов

Подлинник

<https://litres.ru/73923933>

SelfPub; 2026

Аннотация

Москва, 1992 год. Константин Вернер - блестящий эксперт по иконописи и тайный коллекционер, привыкший жить двойной жизнью. Когда к нему попадает собрание купцов-старообрядцев, найденное в старом тайнике, он оказывается втянут в опасную игру, где переплетаются искусство, вера и преступление. Каждый шаг приближает его к разгадке тайны двухсотлетней давности и к встрече с собственным прошлым, которого он избегал всю жизнь.

Александр Трофимов

Подлинник

*«Подлинность - понятие относительное. Абсолютно подлинным бывает только разочарование» **

**Приписывается разным людям, ни один из которых этого не говорил*

Глава первая

Константин Юрьевич Вернер не любил зеркал. Себе он объяснял это тем, что человеку интеллектуального труда незачем тратить время на созерцание собственной физиономии, а психоаналитик - если бы Вернер удостоил хоть одного из них своим вниманием, обнаружил бы в этой нелюбви нечто куда более глубокое. Но психоаналитиков Константин Юрьевич не жаловал примерно по той же причине, по которой не жаловал зеркала: оба инструмента при неосторожном применении обнаруживали неприятные истины.

Истина же о Константине Юрьевиче состояла в следующем: он был некрасив, знал об этом и тщательно восполнял этот недостаток всем остальным.

Пятидесяти трех лет, среднего роста, с узкими плечами, которые казались ещё уже от многолетней привычки суту-

литься над лупой, Вернер имел лицо человека, привыкшего разглядывать предметы с большого расстояния, нежели требовали обстоятельства. Нос с горбинкой, доставшейся ему, вероятно, от каких-то давних предков, которых семейное предание деликатно обходило стороной. Глаза серо-зелёные, пронзительные, способные одним взглядом уничтожить человека, осмелившегося принести на атрибуцию заведомую подделку. Брови густые, ещё не до конца седые, которые он никогда не подстригал и которые жили своей жизнью - то порщились, изгибались дугой или сползали к переносице в зависимости от внутренней погоды хозяина.

Руки у него были замечательные. Длинные, сухие пальцы с аккуратно подстриженными ногтями умели определить на ощупь разницу между эмалью восемнадцатого и девятнадцатого века, почувствовать фактуру патины, отличить настоящую левкасную грунтовку от современного гипсового заменителя. Такие руки у художников, у хирургов или музыкантов, у мастеров, которым дан особый дар чувствовать материю.

Жил он в Москве, в Хамовниках, в трёхкомнатной квартире на третьем этаже кирпичного дома тридцатых годов постройки. Дом был сталинский, основательный, с высокими потолками и толстыми стенами, в которых Константин Юрьевич особо ценил то обстоятельство, что они надёжно поглощали звуки соседского существования. Соседями он интересовался ровно настолько, насколько любого нормаль-

ного человека интересует фоновый шум, то есть не интересовали вовсе.

Квартира, если бы кто-то удостоился её увидеть, а таких счастливицков за последние семь лет набралось не более восьми человек, производила впечатление жилища человека, знающего, что есть красота, и умеющего её приобретать.

Мебель, в основном, красного дерева, девятнадцатый век. Письменный стол работы предположительно мастерской Гамбса, с бронзовыми накладками в виде лавровых ветвей, которые хозяин каждые две недели натирал специальным составом. У окна - вольтеровское кресло, обтянутое тканью сложного, трудноопределимого цвета: не то бургундское вино, не то запёкшаяся кровь, не то поздняя осень в Нескучном саду. Часы на каминной полке - Буль, середина восемнадцатого, с инкрустацией черепахового панциря и позолоченной бронзой. Шли они с погрешностью плюс восемь секунд в сутки, и эта погрешность Вернера не устраивала, но перебирать старинный механизм он пока не решался.

Иконы на стенах были главной особенностью квартиры. Это то, что всякий вошедший замечал первым делом и что непременно вводило гостя в замешательство: то ли перед ним жилище глубоко верующего человека, то ли частный музей. Константин Юрьевич не был ни тем, ни другим. Иконы он подбирал как предметы искусства, с той же щепетильностью, с какой иной человек ищет себе супругу. Плохих икон у него не было. Дешёвых тоже.

Жил он один. Один не в смысле отсутствия домработницы (таковая имелась, приходила по вторникам и пятницам, звали её Тамара Николаевна, и Вернер ценил её за то, что она не разговаривала без необходимости). Один в том смысле, что за пятьдесят три года он так и не встретил человека, общество которого предпочёл бы своему. Женщины в его жизни случались, однако серьёзных отношений не сложилось ни одних. Коллеги уважали, а вот друзей не было. Это его, в общем-то, устраивало.

* * *

Время, о котором идёт речь, - весна и лето тысяча девятьсот девяносто второго года было в России временем исключительным, не похожим ни на что прежде случавшееся в истории этой страны, а история, как известно, распорядилась ей весьма причудливо.

Год назад, в августе девяносто первого, страна трое суток балансировала на краю то ли нового переворота, то ли возврата к старому. Потом ГКЧП рассыпался с удивительной быстротой, которая даже сочувствующим ему показалась несколько унижительной, и Советский Союз, помучившись ещё несколько месяцев, тихо скончался под Новый год. Россия осталась одна, без привычной оболочки, без привычных правил, с огромным запасом непривычных возможностей, которыми спешили воспользоваться люди самого разного толка.

Вернер наблюдал за происходящим с интересом энтомо-

лога, обнаружившего новый вид жука. По дороге на службу он проходил мимо «Макдоналдса» на Пушкинской, где очередь всё ещё растягивалась на два часа, мимо ларьков с турецким ширпотребом, мимо напёрсточников у метро, собиравших толпы зевак.

На Кузнецком Мосту стоял молодой человек в очках и предлагал облигации несуществующего банка «Россия-Инвест» с гарантированной доходностью триста процентов годовых. Очередь к нему не иссякала.

В марте того же года некий Сергей Пантелеевич Мавроди зарегистрировал акционерное общество «МММ», которое сначала торговало оргтехникой, а потом придумало занятие поинтереснее.

Мальчики в малиновых пиджаках, ставшие впоследствии собирательным образом эпохи, ездили на «Мерседесах» с мигалками и разговаривали по первым мобильным телефонам – большим, тяжёлым, похожим на армейскую рацию, которые они почему-то предпочитали держать не у уха, а перед собой, демонстрируя окружающим сам факт обладания аппаратом.

Шальные деньги, потерявшие голову люди, правила игры, которые менялись каждый день, – стандартный набор переходной эпохи.

Пройдёт. Всё проходит. Главное это не попасть в общий поток, сохранить достоинство и холодный ум, – так размышлял про себя Константин Юрьевич.

Глава вторая

Официальная должность Вернера - старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства Государственного исторического музея звучала скромно для человека с его квалификацией. В музейной иерархии это была позиция уважаемая, но не командная: достаточно высокая, чтобы никто не смел указывать, и достаточно низкая, чтобы никто не требовал отчётов. Идеальное место для человека, который ценил свободу больше власти.

Он мог бы стать заведующим отделом и кстати неоднократно предлагали. Мог бы со временем сделаться директором - осторожно намекали в министерстве, особенно после того, как он блестяще провёл экспертизу коллекции, возвращённой из Германии. Он неизменно отказывался, вежливо, но твёрдо. Коллеги объясняли это кто скромностью, кто чудачеством, кто изощренной формой высокомерия: мол, истинный знаток не нуждается в административных подтверждениях своей значимости, ему достаточно сознания правоты.

Все три объяснения были в известной степени верны. Но ни одно не было полным.

Полное объяснение звучало бы так: Константин Юрьевич Вернер избегал любого положения, при котором его жизнь могла бы подвергнуться избыточной проверке. Потому что

жизнь у него была двойная. И не в том смысле, в каком это слово обычно употребляется применительно к неверным мужьям или тайным агентам, - двойственность, присущая ему была куда более утончённой и, если подумать, куда более опасной.

* * *

Внешняя сторона его жизни была безупречна.

Каждое утро, кроме понедельника, в понедельник музей был закрыт для посетителей, и Вернер позволял себе прийти позже, - он спускался по широкой лестнице своего сталинского дома ровно в восемь пятнадцать. Шёл пешком через Хамовники, мимо краснокирпичных корпусов бывшей мануфактуры, мимо сквера с чахлыми липами, которые каждую весну пытались зацвести и каждую осень сдавались под напором московской копоты. Путь занимал двадцать минут - ровно столько, сколько требовалось, чтобы привести мысли в порядок и настроиться на рабочий лад.

В музее он появлялся без четверти девять. Гардеробщица, пожилая женщина с удивительным именем Аполлинария, которую все звали просто Полей, принимала пальто и зонтик - если день был дождливый, - и он поднимался к себе на второй этаж, в кабинет, выходивший окнами в тихий внутренний двор.

Свой кабинет он обустроил с той же тщательностью, что и квартиру. Письменный стол не музейный, собственный, привезённый когда-то из дома, - дуб, девятнадцатый век, с зелё-

ным сукном. Два стула для посетителей, жёсткие, с прямыми спинками - чтобы не засиживались. Стеллажи с папками, пронумерованными и расставленными в алфавитном порядке: экспертизы, атрибуции, реставрационные акты, переписка. На отдельной подставке величаво расположилась цейсовская лупа, которой он очень гордился. На окне - герань, которую поливала уборщица, потому что сам Вернер о цветах неизменно забывал.

Летом липы во дворе закрывали обзор, и кабинет погружался в зеленоватый полумрак, который Вернер любил - он напоминал ему рассеянный свет в древних церквях, при котором иконы смотрятся лучше всего. Зимой ветви чернели на фоне белого неба, и тогда он включал настольную лампу под зелёным абажуром, и кабинет становился похож на каюту - замкнутое, уютное пространство, отгороженное от мира.

Коллеги относились к нему почтительно настолько, чтобы не заходить без дела, не задавать лишних вопросов и не обижаться на его сухость. Вернер не был груб, он был сух, как бывают сухие доски, из которых ушла вся влага, но которые сохраняют прочность. Он здоровался, отвечал на вопросы, давал консультации - всегда по делу, всегда точно, и исключительно с той интонацией, которая не предполагала продолжения разговора за пределами профессиональной темы.

Он знал, что за глаза его называют «сухарём», «иезуитом» и ещё парой слов, менее приличных. Его это не трогало. Он давно решил, что человеческие отношения это область, в ко-

торой он не обязан быть силён. У него была другая область.

Подлинной была квалификация Вернера. Накопленные им знания в области русского декоративно-прикладного искусства семнадцатого-девятнадцатого веков являлись энциклопедическими в самом точном смысле. Он различал оттенки киновари, как музыкант различает тональности, и чувствовал фактуру патины кончиками пальцев.

Всё это было капиталом - официальным, легальным, прозрачным.

Но было и другое.

* * *

Внутренняя сторона его жизни началась двадцать два года назад. Осенью семидесятого года молодой сотрудник Вернер, ему только что исполнился тридцать один, он недавно защитил кандидатскую и горел тем огнём, который зажигается в человеке, впервые осознавшем, что знает больше любого из окружающих, - получил командировочное предписание. Плановая инспекция фондов одного из подмосковных краеведческих музеев. Ничего особенного: проверить условия хранения, сверить инвентарные номера, составить отчёт. Такие инспекции проводились регулярно, и обычно они не приносили ничего, кроме скуки и лёгкого раздражения от чужого беспорядка.

Название этого городка Вернер впоследствии никогда не упоминал, ни в разговорах, ни в документах, ни даже в собственных мыслях. Со временем оно оказалось вытеснено,

стёрто, как выцветает в памяти всё, о чём человек предпочитает не думать. Сохранилось только ощущение: ноябрь, мокрый снег с дождём, запах угольного дыма на станции, грязь немощёных улиц, обвалившаяся местами штукатурка двухэтажного здания музея.

В музее пахло так, как пахнут все провинциальные музеи Советского Союза, - смесью пыли, нафталина и какой-то неуловимой затхлости, которая накапливается в помещениях, где десятилетиями ничего не меняется. Директором музея была пожилая женщина в сером шерстяном платке, накинутом поверх ситцевого платья. Встретила она его со смесью почтения и настороженности, как провинциальные музейщики в большинстве случаев встречают столичных гостей: с одной стороны, свой брат, научный работник, с другой - начальство, от которого можно ждать неприятностей.

Провела по экспозиции. Три зала, посвящённых истории края с древнейших времён до наших дней. Пыльное чучело медведя, скелет мамонта, несколько витрин с археологическими находками: черепки, наконечники стрел, женские украшения из курганов. Потом крестьянский быт: прялки, ухваты, вышитые полотенца. Дальше - революция и война: фотографии земляков-героев, пробитая каска, письма с фронта. Всё стандартное, предсказуемое, утверждённое методическими рекомендациями Министерства культуры.

Вернер вежливо кивал, хотя внутри нарастало знакомое чувство разочарования. Он потратил день на дорогу, чтобы

увидеть то, что видел уже десятки раз в десятках таких же музеев. Ничего нового. Ничего интересного. Он уже прикидывал, успеет ли на вечернюю электричку, когда директор, словно извиняясь, сказала:

- У нас ещё подвал есть. Неразобранные поступления. Старые, с сороковых годов. Если хотите посмотреть...

Он хотел.

Подвал оказался именно таким, каким он его себе представлял, - и одновременно хуже. Узкая лестница вела вниз, в полутьму, подсвеченную единственной лампочкой без плафона. С каждым шагом запах менялся: к привычной музейной пыли примешивалась плесень, потом что-то химическое - не то клей, не то формалин от какого-то давно забытого препарата, - а потом всё перебил тяжёлый, влажный запах сырого камня.

Вдоль стен громоздились фанерные ящики, некоторые с инвентарными номерами мелом на боку, большинство без. Какие-то доски, прикрытые мешковиной. Сломанный школьный глобус на кривой подставке. Чучело совы с отвалившимся крылом, из прорехи в бурой пыльной пакле торчала проволока каркаса. Коробка с чем-то бесформенным, что, кажется, когда-то было кожаной сбруей.

Вернер уже не слушал объяснений директора. Взгляд остановился на дальнем углу. Там, под грудой истлевших газет, угадывалась прямоугольная форма, слишком правильная для случайного мусора. Он подошёл ближе, чувствуя,

как внутри включается экспертное чутьё, которое вырабатывается у людей, проводивших тысячи часов среди вышедших из употребления вещей. Это было физическое ощущение, будто в груди слабо натягивается струна и начинает дрожать в резонанс с чем-то, что находится рядом.

Он отодвинул жёлтые от времени газеты. В углу, под смятыми страницами, показался тёмный деревянный край ковчега. Вернер осторожно приподнял верхний слой и обнаружил, что под ним лежала икона, завёрнутая в номер «Правды» за март 1947 года. Газета пожелтела до состояния почти пергамента, но задачу свою выполнила, предоохранила живопись от прямых механических повреждений. Он поднял икону. Доска оказалась неожиданно лёгкой, старая, хорошо высушенная липа, и этот малый вес странно контрастировал с ощущением значительности, которое исходило от предмета.

Богородица Казанская.

Небольшой аналойный образ. Липовая доска из двух частей, скреплённых коваными шпонками. Ковчег глубокий, выбранный филигранно, с чуть покатыми краями. Паволока - тонкая льняная ткань, наклеенная на доску перед левкасом. Левкас меловой, с добавлением животного клея, без гипса.

Живопись потемнела от времени и копоти. Олифа - состав из льняного масла с добавлением смол - стала почти непрозрачной, лик Богородицы едва читался, только глаза смотрели со старой доски с пронзительным вниманием. Но там, где красочный слой пошёл микротрещинами, просвечивала ки-

новарь. Настоящая. Живая. Глубокий, тёплый, почти светящийся изнутри красный цвет, который со временем становится только лучше - в отличие от поздних суриковых красок, которые темнеют и глушатся.

Пробела по складкам мафория - тончайшие белильные линии, наложенные в несколько слоёв плавью. Характерные для строгановской школы удлинённые пропорции, специфическая мягкость вохрения, когда оливковый санкирь просвечивает через верхние слои охры. Золотым фоном служило сусальное золото на полименте, цельное, без утрат, лишь слегка потускневшее.

Строгановская школа. Самое начало семнадцатого века. Никаких сомнений.

Рядом лежала инвентарная карточка, жёлтый картонный прямоугольник, заполненный выцветшими фиолетовыми чернилами. «Образ неизвестного письма, сохранность плохая, интереса не представляет». Дата - 1949 год. Подпись - неразборчиво.

Вернер стоял и смотрел. Подвал, плесень, жужжащая лампочка - всё это отодвинулось на периферию сознания. Осталась только икона. Он чувствовал то, что всегда чувствовал при встрече с по-настоящему большой вещью, - глубокую внутреннюю остановку, момент чистого присутствия. Так бывало редко, может быть, четыре или пять раз в жизни. Но когда бывало, он знал: вещь - подлинник.

И она погибает. Здесь, в этом подвале, при этой влажно-

сти, без присмотра и ухода, она погибнет окончательно через несколько лет. То, что пережило три столетия - революции, войны, пожары, человеческое равнодушие, - погибнет оттого, что у какого-то чиновника в министерстве не хватило двухсот рублей на ящик с силикагелем.

* * *

Рапорт он написал на трёх страницах, с приложением предварительного описания. Указал школу, ориентировочную датировку, состояние, необходимые меры по спасению. Рапорт ушёл по инстанциям: музей, районный отдел культуры, областное управление, дальше министерство. На каждом уровне он задерживался на несколько недель. Вернер звонил, писал повторные запросы, пытался действовать через знакомых. Ответ был один: ждите.

Через семь месяцев ответ пришёл. На полях красным карандашом было выведено: «Нецелесообразно. Финансирование реставрационных работ на текущий год исчерпано. Оставить на прежнем месте хранения». Внизу - круглая печать и подпись заместителя начальника управления.

Вернер сидел в своём кабинете, смотрел на казённую бумагу с резолюцией и чувствовал, как внутри поднимается холодная, расчётливая решимость.

Он поехал в тот музей снова. Частным порядком, без командировочного предписания. Директор встретила приветливо: кто ж откажет человеку из Москвы, который проявляет интерес к твоему запаснику?

В подвале он провёл около трёх часов. Сделал подробные фотографии на принесённую с собой «Лейку». Описал состояние: характер кракелюра, степень потемнения олифы, места вздутия левкаса. Затем убрал икону в заранее изготовленный деревянный кофр с поролоновыми прокладками - и положил на её место копию.

Вернер умел писать иконы. Этому он научился в юности, ещё до университета, у старого мастера-реставратора в Ярославле, куда его, двадцатилетнего студента, отправили на летнюю практику. Мастер, молчаливый старик из старообрядцев, учил не копировать, а понимать, чувствовать структуру доски, состав левкаса, поведение красочного слоя под кистью. Вернер оказался способным учеником, не гениальным, но точным, а точность в этом деле ценилась выше всего.

Копия, которую он оставил вместо оригинала, была достаточно хороша, чтобы обмануть беглый взгляд, но недостаточно совершенна, чтобы её приняли за оригинал при серьёзной экспертизе. Но кто будет проводить серьёзную экспертизу предмета, который, согласно документам, «интереса не представляет»?

Никто.

* * *

Так началась его коллекция.

Вернер не считал себя вором. Он выбрал это слово с хирургической точностью - «взял». Не украл. Украсть можно

только то, что кому-то принадлежит. А кому принадлежала эта Казанская Богородица в сыром подвале, под грудой газет, с карточкой «интереса не представляет»? Государство письменно, с печатью и исходящим номером, от неё отказалось. Музей о ней забыл на четыре десятилетия.

Он вернул ей облик, кропотливо восстанавливая каждую деталь. Так обращаются лишь с личными вещами, которые успели стать близким, своим, почти одушевлённым.

Реставрация заняла четыре месяца. Он работал по вечерам и в выходные. Снял потемневшую олифу - работа тонкая, одно неверное движение могло повредить красочный слой безвозвратно. Укрепил левкас в местах микротрещин. Заделал сколы по краям доски мастикой. Покрыл заново светлой олифой, позволившей живописи дышать.

Когда реставрация была закончена, Вернер повесил икону в прихожей. На самый вид - первое, что видел каждый входящий. То, что висит на виду, - законно. То, на что смотришь каждый день, - привычно. А привычное не тревожит.

* * *

За двадцать два года коллекция разрослась. Вернер был осторожен и избирателен. Он не гнался за количеством и не поддавался азарту. Каждый новый предмет должен был занять своё место в его внутреннем музее.

Он ждал подходящего момента. Ждал, пока вещь окажется в положении, при котором её исчезновение никого не удивит: забытый запасник, неправильно оформленная опись,

списание «ввиду полной утраты». Таких вещей в Советском Союзе были тысячи - страна была набита искусством, как старый сундук, и рассыпала его по пыльным углам, не замечая потерь.

Схема всегда была разной. Где-то подменял оригинал копией, как в тот первый раз. Где-то оформлял фиктивный акт о списании. Где-то просто забирал вещь из груды таких же, никому не нужных, и через полгода никто уже не мог вспомнить, была она там или нет.

Он действовал один. Всегда один. Никаких сообщников, никаких посредников. Это было его абсолютное правило, его страховка, его способ выживания в мире, где любая информация рано или поздно становилась известной.

К весне девяносто второго года собрание насчитывало сто восемнадцать предметов. Иконы строгановские, новгородские, поморские, две палехские - всё подлинное, музейного уровня. Серебро - потиры, кадила, оклады, кресты. Эмали. Несколько вещей Фаберже. Рукописная книга в серебряном окладе.

Стоимость коллекции, если бы кто-то взялся её оценить по международным аукционным ценам, составила бы сумму, от которой у директора любого европейского музея перехватило бы дыхание. А у следователя, ознакомившегося с описью, уже мысленно выстроился список вопросов, с которых начнётся первый допрос.

Вернер знал это.

Знал и ещё об одном. Годами осторожной экспертной работы, частной, оплачиваемой наличными долларами, он накопил сумму, достаточную для безбедной жизни в любой стране мира. Счета были оформлены на анонимные инвестиционные компании.

* * *

Но была в его прошлом и другая история. Не такая давняя, как первая, и куда более тёмная. Вернер вспоминал о ней редко, может быть, раз в несколько лет. Но всякий раз это воспоминание приходило без спроса: всплывало откуда-то из глубины памяти, стояло перед глазами несколько секунд и уходило обратно, не оставляя следа.

Это произошло в семьдесят четвёртом. К тому времени Вернер уже стал тем, кем он был теперь, экспертом с репутацией жёсткого, въедливого, безупречно компетентного.

Однажды к нему пришёл человек. Тоже искусствовед - но не музейный, а частный. Из тех, кто в советское время балансировал на тонкой грани между легальным коллекционированием и уголовной статьёй. Он принёс три иконы на экспертизу. Хотел официальное заключение, чтобы продать через комиссионный магазин. Дело было простое и невесёлое: серьёзно болела жена, требовалось дорогое лекарство, денег взять было негде. Иконы были фамильные, доставшиеся от отца.

Две иконы оказались хорошими, но не выдающимися. Крепкое ремесло, добротное письмо, но без искры. А тре-

тья...

Третья была другой.

Вернер взял её в руки и почувствовал уже знакомое: глубокую внутреннюю остановку, момент, когда мир сжимается до размеров доски и красочного слоя. Что-то в манере письма, в характерной плавии на пробелах, в оттенке киновари напомнило ему ту самую Казанскую, которую он нашёл четыре года назад.

Он попросил оставить иконы на несколько дней для детального изучения. Посетитель согласился, не задумываясь: он доверял человеку с репутацией, с должностью, с именем.

Вернер поднял архивы. Он искал долго, несколько дней почти не спал. И нашёл.

В Мытищинском краеведческом музее, в папке «Временные поступления 1941–1945», среди десятков пожелтевших листков обнаружился акт приёма на временное хранение. Некто, проживающий по такому-то адресу, передал музею в июле 1941 года ввиду ухода на фронт икону Богородицы Казанской. Размеры совпадали. Фамилия сдатчика совпадала с фамилией человека, принёсшего икону на экспертизу.

Икона принадлежала его отцу. И по любым законам, включая советские, должна была быть возвращена наследнику, если бы хоть один человек потрудился сопоставить акт сорок первого года с иконой, лежащей сейчас на экспертизе в Историческом музее.

Вернер сопоставил.

И сделал выбор.

Он написал заключение - сжатое, профессиональное, с безупречными формулировками, которые ничего не утверждали прямо, но подводили к выводу, который опытный следователь сделал бы сам. «Предположительно государственного происхождения». «Не могу исключить принадлежности к музейному фонду». Фразы внешне нейтральные, по сути убийственные.

Через три недели искусствовед был арестован.

Вернер узнал об этом через общих знакомых - глухо, без подробностей. Сказали: взяли по статье о незаконном обороте культурных ценностей. Шесть лет. Он выслушал, кивнул и перевёл разговор на другую тему.

Он хотел эту икону. Хотел так, как хотел немногие вещи в жизни, - с той необъяснимой, почти религиозной страстью к обладанию, которая не имеет ничего общего с корыстью и всё - с чем-то тёмным, спрятанным глубоко внутри. Он получил её. Через знакомый механизм: акт о передаче на ответственное хранение, бюрократическая неразбериха, всеобщее равнодушие. Повесил в прихожей, рядом с первой Казанской, - две Богородицы одного времени, одной школы, почти неразличимые невооружённым глазом.

Человек, который принёс икону, умер в лагере. Вернер узнал об этом случайно, через полгода после смерти. Услышал, принял к сведению и отодвинул в ту часть памяти, куда складывал всё, о чём предпочитал не думать.

Ту историю он не вспоминал. Почти никогда.

* * *

Вот с таким грузом Константин Юрьевич Вернер вошёл в лето девяносто второго года. Сто восемнадцать предметов в тайнике. Счета в прибалтийских банках. Две Казанские Богородицы на стене в прихожей, одна напротив другой, и тёмная тень между ними - невидимая, неслышная, но присутствующая.

Он был спокоен и уверен, как бывает спокоен человек, который давно разложил свою жизнь по полочкам и не ждёт от неё сюрпризов.

Глава третья

Первого апреля тысяча девятьсот девяносто второго года - дату Вернер запомнил с иронической точностью, потому что она пришлась на день всеобщего дурачества, в котором он никогда не участвовал, в его кабинете появилась новая сотрудница.

День начинался обычно. Вернер пришёл в музей без четверти девять, как приходил всегда. Гардеробщица Поля приняла от него плащ, лёгкий, демисезонный, московская весна в том году выдалась ранней и тёплой и привычно промолчала, зная, что Константин Юрьевич утренних разговоров не жалуется. Он поднялся на второй этаж, кивнул двум встреченным в коридоре сотрудницам и скрылся за дверью своего ка-

бинета.

Утро он провёл просматривая очередную порцию запросов на экспертизу, которые скапливались у него на столе с регулярностью морских приливов и отливов. Кооператив «Антик-Сервис» просил оценить коллекцию серебряных портсигаров. Какой-то новоявленный бизнесмен из бывших комсомольских работников прислал фотографии иконы, которую ему предлагали купить для украшения офиса, даже по снимкам было видно, что это поздняя копия, причём довольно грубая. Общество охраны памятников интересовалось состоянием иконостаса в закрытой церкви под Тверью. Всё это Вернер разбирал быстро, делал пометки на полях, откладывал в сторону. Нарботанный за десятилетия автоматизм позволял справляться с потоком, не включая глубокого внимания.

Около одиннадцати в дверь постучали, негромко, но уверенно. Вернер поднял голову от бумаг.

- Войдите.

На пороге стояла Антонина Дмитриевна Семёнова, заведующая отделом, женщина лет пятидесяти пяти, невысокая, плотная, с неизменной брошью в виде стрекозы на лацкане жакета. Семёнова свято верила, что хороший коллектив это прежде всего коллектив сплочённый, а сплочённость достигается совместными чаепитиями и обменом сведениями о личной жизни сотрудников. Вернер эту философию не разделял, но терпел, хотя бы потому, что Семёнова действитель-

но хорошо знала своё дело и не лезла в его экспертизы.

- Константин Юрьевич! - зашебетала она, просовывая голову в дверь. - Можно к вам на минуточку?

- У меня одиннадцать тринадцать, - ответил Вернер, не отрываясь от бумаг. Это означало: у вас есть две минуты, излагайте.

Семёнова вошла, и Вернер заметил, что за её спиной, в полутьме коридора, стоит кто-то ещё. Женщина. Молодая. Ждёт, пока её пригласят.

- Константин Юрьевич, к нам пришла новая сотрудница, - объявила Семёнова с интонацией, какой обычно сообщают о событиях, которые должны всех обрадовать. - Ирина Аркадьевна Романова. Будет помогать с инвентаризацией запасников. Я попрошу вас уделить ей хотя бы полчаса, показать, как мы работаем, ввести в курс дела, так сказать.

Вернер мысленно поморщился. Он не любил вводить в курс дела. Это отнимало время, требовало усилий и почти никогда не окупалось: из десяти новых сотрудников девять оказывались либо безнадёжно некомпетентными, либо вполне компетентными, но лишёнными того внутреннего огня, который отличает настоящего знатока от просто дипломированного специалиста. Но возражать было бесполезно.

- Хорошо, - сказал Вернер и поднял глаза.

В дверях стояла молодая женщина.

На вид лет двадцать пять, может быть, чуть больше. Невысокая, но и не миниатюрная. Одета в строгий серый костюм

- юбка до колена, жакет с узкими лацканами, светлая блузка. Никакой яркой косметики, никаких украшений, кроме маленьких серебряных серёжек. Тёмные волосы убраны назад и собраны в простой узел на затылке. В руках папка с документами, прижатая к груди.

Приятное, неброское лицо. Правильные, сдержанные черты, ровная линия носа, чётко очерченные скулы. Карамельная помада гладко лежала на её губах, подчеркивая их естественную форму. Светлые глаза в полутьме кабинета было не разобрать, серые они или голубые, смотрели прямо, не отбегая и не суесясь. Так смотрят люди, которые либо совершенно уверены в себе, либо очень хорошо умеют эту уверенность изображать.

Вернер отметил это машинально: взгляд прямой, осанка ровная, в дверях стоит не переминаясь. Первое впечатление, указывало, что человек собранный, уравновешенный и, кажется, неглупый. Последнее он отметил отдельно, умных людей он распознавал с первого взгляда примерно так же, как распознавал подлинные вещи. И ошибался тоже же редко.

- Ирина Аркадьевна Романова, - представилась она, входя в кабинет без особого смущения и протягивая руку.

Рука у неё была узкая, с длинными пальцами - не музыкальными, как у него, а практическими: крепкая ладонь, коротко подстриженные ногти, никакого лака. Такие руки бывают у реставраторов и чертёжниц - людей, которые работают с мелкими предметами и не отвлекаются на маникюр.

- Очень рада познакомиться, - продолжала она. - Я много слышала о Вас.

- Ничего хорошего, надеюсь? - сказал Вернер.

Это была стандартная реплика, которую он часто исполнял при знакомстве, проверка на чувство юмора и способность не теряться. Он применял её много лет и давно уже классифицировал все возможные ответы. Восемьдесят процентов людей смущались и начинали бормотать что-то про «нет, нет, только хорошее». Ещё процентов пятнадцать натянуто улыбались, не понимая шутки. Оставшиеся пять отвечали нестандартно - и это были люди, с которыми стоило иметь дело.

Ирина Аркадьевна едва заметно улыбнулась.

- Смотря что считать хорошим, - сказала она ровно. - Говорят, вы можете уничтожить репутацию эксперта одной фразой. Я бы назвала это хорошим. В нашей профессии точность важнее вежливости.

Вернер кивнул. Не лесть, не грубость, а точность, это действительно было тем, что он сам ценил превыше всего.

Он жестом указал на стул для посетителей.

- Садитесь. Чем планируете у нас заниматься?

Ирина Аркадьевна села, ровно, не сутулясь, положила папку на колени. Двигалась она экономно, без лишних жестов.

- Инвентаризация запасников, - ответила она. - Антонина Дмитриевна говорила, что там большие отставания в учёте.

Часть предметов не имеет актуальных описаний, часть числится по инвентарным книгам, которые не обновлялись с пятидесятых годов.

- Не преувеличивает, - кивнул Вернер. - У нас запасники - это отдельная головная боль. Вы работали раньше с документацией по иконам?

- Изучала в университете. На практике - почти нет.

- Где учились?

- МГУ, искусствоведческое отделение. Специализация - русская иконопись семнадцатого-восемнадцатого веков. Диплом писала о поморской школе.

Вернер вскинул бровь. Поморская школа - тема узкая, специфическая, не та, которую выбирают случайно. Выбор говорил либо о глубоком, неслучайном интересе, либо о наличии хорошего научного руководителя. Либо о том и другом вместе.

- Кто был руководителем диплома?

- Профессор Ключевская, - ответила Ирина Аркадьевна. - И консультировалась я в рукописном отделе Ленинской библиотеки. Поморские рукописи - это сложный материал, без консультаций было не обойтись, - выдохнула она, и в этой фразе прозвучала вся тяжесть многомесячного труда.

Ответ был точным. Ключевскую Вернер знал - серьёзный специалист по старообрядческой иконописи, из старой школы, с безупречной репутацией. То, что Ирина работала под её руководством, говорило в её пользу.

- Хорошо, - сказал он. - Честно, по крайней мере. Дам вам методические материалы, начнёте с простого.

- Я готова.

Вернер достал из ящика стола старую, потрёпанную папку, с надписью: «Методические рекомендации по описанию предметов декоративно-прикладного искусства». Он сам составлял эти рекомендации лет десять назад и с тех пор дополнял их заметками, примерами, уточнениями. Папка была ему дорога, и он не давал её никому, кроме тех, кого считал достойными.

Он и сам не смог бы ответить почему он дал её этой молодой женщине, которую видел впервые в жизни. Наверное, суть была в том, как она держалась, без подобострастия, но и без нахальства. Или в том, что за три минуты разговора она не сказала ни одного лишнего слова, а он ценил эту способность больше многих других.

- Здесь основные принципы описания икон, - сказал он, протягивая папку. - Размеры, материал, техника, сохранность, провенанс. Обратите внимание на раздел о кракелюре - это самое сложное, многие путают естественный кракелюр с искусственным. Если будут вопросы - задавайте. Но не все сразу.

- Я постараюсь, - сказала она, принимая папку обеими руками. - Спасибо.

Она поднялась легко, без скрипа стула, и направилась к двери. Вернер проводил её взглядом. Спина прямая, шаг

ровный, дверь за собой она закрыла бесшумно, повернув ручку до щелчка. Такая мелочь, а говорит о человеке больше, чем иное резюме.

Он остался один. В кабинете снова стало тихо и только часы на стене тикали да за окном шелестели ещё голые, но уже готовые распусться липы. Вернер посидел немного, глядя на закрытую дверь, затем мысленно поместил новую сотрудницу в ящик памяти под рубрику «новые сотрудники, вероятность полезного взаимодействия - выше средней».

И вернулся к своим портсигарам.

* * *

Первые недели Ирина Аркадьевна Романова работала незаметно. Вернер наблюдал за ней краем глаза, как наблюдал за всеми новыми сотрудниками, и наблюдения его были благоприятными. Она не болтала лишнего. Не курила в коридоре с другими молодыми сотрудницами, обсуждая моду и мужчин. Не жаловалась на духоту в запасниках и пыль на стеллажах. Приходила вовремя, уходила позже многих, закрывалась в отведённой ей камерке в конце коридора и системно, лист за листом, просматривала инвентарные книги.

Она не задавала пустых вопросов, не переспрашивала по несколько раз. Записывала ответы в небольшую тетрадь в клеёнчатой обложке, старую, ещё советскую, с пожелтевшими страницами, - и тетрадь эта пополнялась с каждым днём.

Однажды Вернер застал её в запаснике. Ирина стояла у стеллажа, держа в руках небольшой образ - кажется, Нико-

лай Чудотворец, северное письмо, восемнадцатый век. Она не просто рассматривала икону, она её слушала. Именно это слово пришло Вернеру в голову. Так слушают старую пластинку, с которой нужно снять каждую ноту. Она медленно поворачивала доску, поднося её к свету, и лицо её при этом было сосредоточенным и было очевидно, что она делает то, что умеет и любит.

Вернер вышел, не выдав своего присутствия. В тот вечер он впервые подумал о ней не как о «перспективной сотруднице», а как о человеке.

* * *

Шли недели. Апрель в Москве пора обманчивая: солнце греет, но ветер еще холодный, почки набухают, но до листьев ещё далеко, и воздух пахнет одновременно талым снегом и приближающимся теплом. Вернер работал много и сосредоточенно. Экспертизы, консультации, заседания учёного совета. По вечерам домой, в тишину хамовнической квартиры, к образам на стенах и часам на каминной полке.

В музее тем временем происходили перемены, медленные, но неизбежные. Финансирование урезали, штаты сокращали, запасники требовали учёта, а денег на это не давали. Вернер смотрел на происходящее с привычной смесью презрения и философского спокойствия: страна переживала очередной приступ хаоса, и нужно было просто переждать, как пережидают грозу в надёжном укрытии.

Ирина Аркадьевна работала. Обрастала в отделе знаком-

ствами - поверхностными, деловыми, достаточными, чтобы быть своей, но не настолько, чтобы стать заметной. Она пила чай с Семёновой и отвечала на её вопросы о личной жизни коротко, но вежливо: не замужем, детей нет, родители умерли, живу одна. Ничего такого, что можно было бы обсуждать в курилке. Ничего такого, что запоминалось бы надолго.

С Вернером она виделась не более двух-трех раза в неделю, по деловым вопросам. Он отмечал, что она продвигается в работе быстрее, чем можно было ожидать от новичка. Что она хорошо читает церковнославянский лучше большинства выпускников, и что её описания предметов становятся всё более точными и компетентными.

Однажды, в конце апреля, они столкнулись в буфете. Вернер обедал в одно и то же время - ровно в час - и брал одно и то же: салат из капусты, куриную котлету с пюре, компот из сухофруктов. Он сидел за угловым столиком, который считал своим, хотя нигде это записано не было, и просматривал свежий номер «Советского музея», когда над его столом возникла тень.

- Можно к вам?

Он поднял голову. Ирина Аркадьевна стояла с подносом - тот же набор, что и у него, плюс булочка с повидлом.

- Садитесь.

Она села, поставила поднос, развернула салфетку на коленях, аккуратно, как всё, что она делала. Некоторое время ели молча. Вернер не любил застольных разговоров, и молчание

вдвоём не тяготило его. С ней вообще было не тягостно.

- Я закончила первый блок запасника, - она отламила край булочки. - Второй ярус, третий стеллаж - иконы позднего периода. Там есть интересные вещи. Одна доска, кажется, переписана в девятнадцатом веке, но под верхним слоем - семнадцатый. Нужна экспертиза с просвечиванием.

- Дайте запрос в реставрационную мастерскую. Если подтвердится - можно ставить на реставрацию.

- Я уже дала. Ответа пока нет.

Вернер кивнул, отметив про себя её самостоятельность. Большинство новичков ждали бы указаний, она - нет. Увидела, оценила, запросила.

- Вы всегда так работаете? - спросил он.

- Как?

- Быстро. Самостоятельно. Без лишних вопросов.

- Я не люблю откладывать то, что можно сделать сразу, - ответила она. - И не люблю спрашивать, если могу найти ответ сама. Это экономит время. И ваше, и моё.

- Разумно.

Она улыбнулась той же едва заметной полуулыбкой, что и в первый день. Вернер отметил, что глаза у неё всё-таки серые - светлые, прозрачные, как вода в мелком ручье. И что на правой скуле, если присмотреться виден тонкий шрам, почти незаметный, как трещина на отреставрированной доске.

- У вас есть специализация? - спросил он. - Кроме поморской школы.

- Я занималась старообрядческой иконописью в целом. Выг, Поморье, Печора. И ещё немного - рукописная традиция старообрядцев. Почерки, орнаменты, документы.

- Редкая тема.

- Мне было интересно.

- Интересно, - повторил Вернер. - Это правильное слово. Многим сейчас просто «выгодно» или «престижно». Интересно - это редкость.

Он сказал это и тут же пожалел: фраза прозвучала слишком лично, почти комплиментарно, а он не привык говорить комплименты. Ирина промолчала, опустила глаза к тарелке, и разговор перешёл на другую тему - учётные книги, график работы запасников, планы на май. Но что-то в их взаимодействии сдвинулось: невидимая стрелка перескочила на одно деление вперёд.

Глава четвёртая

В мае, когда Москва окончательно решила стать летом и принялась за это с настойчивостью, которая в прежние времена именовалась социалистическим соревнованием, а теперь - рыночным духом, в кабинет Вернера вошёл незнакомец.

Май в том году выдался жарким. Асфальт на Моховой размягчался к полудню, в троллейбусах было душно, и пассажиры обмахивались газетами. У метро «Охотный ряд»

торговали квасом из жёлтых бочек, очереди к ним выстраивались такие же, как за водкой в недавние застойные годы. Вернер майскую жару переносил нейтрально - с годами он привык к перепадам температуры так же, как к перепадам человеческого настроения, то есть не замечал. В его кабинете спасали толстые кирпичные стены и окно в тенистый двор. Липы, уже покрывшиеся листвой, давали зеленоватый полумрак.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.